

Н. С. Лесков

Пугало

Источник текста: Собрание сочинений в 12 т. -- М., Правда, 1989; Том 7, с. 182-226.

OCR: sad369 (г. Омск)

У страха большие глаза.
Поговорка

Глава первая

Моё детство прошло в Орле. Мы жили в доме Немчинова, где-то недалеко от "маленького собора". Теперь я не могу разобрать, где именно стоял этот высокий деревянный дом, но помню, что из его сада был просторный вид за широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями, прорезанными пластами красной глины. За оврагом расстился большой выгон, на котором стояли казённые магазины, а возле них летом всегда учились солдаты. Я всякий день смотрел, как их учили и как их били. Тогда это было в употреблении, но я никак не мог к этому привыкнуть и всегда о них плакал. Чтобы это не часто повторялось, моя няня, престарелая московская солдатка -- Марина Борисовна, уводила меня гулять в городской сад. Здесь мы садились над мелководной Окой и глядели, как в ней купались и играли маленькие дети, свободе которых я тогда очень завидовал.

Главная выгода их привольного положения в моих глазах состояла в том, что они не имели на себе ни обуви, ни белья, так как рубашонки их были сняты и ворот их с рукавами связаны. В таком приспособлении рубашки получали вид небольших мешков, и ребятишки, ставя их против течения, налавливали туда крохотную серебристую рыбёшку. Она так мала, что её нельзя чистить, и это признавалось достаточным основанием к тому, чтобы её варить и есть нечищеною.

Я никогда не имел отваги узнать её вкус, но ловля её, производившаяся крохотными рыбаками, казалась мне верхом счастья, каким мальчика моих тогдашних лет могла утешить свобода.

Няня, впрочем, знала хорошие доводы, что мне такая свобода была бы совершенно неприлична. Доводы эти заключались в том, что я -- дитя благородных родителей и отца моего все в городе знают.

-- Другое дело, -- говорила няня, -- если бы это было в деревне. Там, при простых, серых мужиках, и мне, пожалуй, можно было бы позволить наслаждаться кой-чем в том же свободном роде.

Кажется, от этих именно сдерживающих рассуждений меня стало сильно и томительно манить в деревню, и восторг мой не знал пределов, когда родители мои купили небольшое имение в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали из большого городского дома в очень уютный, но маленький деревенский дом с балконом, под соломенной крышей. Лес в Кромском уезде и тогда был дорог и редок. Это местность степная и хлебородная, и притом она хорошо орошена маленькими, но чистыми речками.

Глава вторая

В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Пока отец и мать были усиленно заняты устройством своего хозяйства, я не терял времени, чтобы самым тесным образом сблизиться с взрослыми парнями и с ребятами, которые пасли лошадей "на кулигах" [Кулига -- место, где срублены и выжжены деревья, чащоба, пережога. (Прим. автора.)].

Сильнее всех моими привязанностями овладел, впрочем, старый мельник, дедушка Илья -- совершенно седой старик с преобладающими чёрными усами. Он более всех других был доступен для разговоров, потому что на работы не отлучался, а или похаживал с навозными вилами по плотине, или сидел над дрожавшей скрынью и задумчиво слушал, ровно ли стучат мельничные колёса или не сосёт ли где-нибудь под скрынью вода. Когда ему надокучало ничего не делать, -- он заготавливал на всякий случай кленовые кулачья или цевки для шестерни. Но во всех описанных положениях он легко отклонялся от дела и вступал охотно в беседы, которые он вёл отрывками, без всякой связи, но любил систему намёков и при этом подсмеивался не то сам над собою, не то над слушателями.

По должности мельника дедушка Илья имел довольно близкое соотношение к водяному, который заведовал нашими прудами, верхним и нижним, и двумя болотами. Свою главную штаб-квартиру этот демон имел под холостую скрынью на нашей мельнице.

Дедушка Илья об нём всё знал и говорил;

-- Он меня любит. Он, если когда и сердит домой придёт за какие-нибудь беспорядки, -- он меня не обижает. Ляжь тут другой на моём месте, на мешках, - он так и сорвёт с мешка и выбросит, а меня ни в жизнь не тронет.

Все младшие люди подтверждали мне, что между дедушкой Ильёю и "водяным дедкой" действительно существовали описанные отношения, но только они держались вовсе не на том, что водяной Илью любил, а на том, что дедушка Илья, как настоящий, заправский мельник, знал настоящее, заправское мельничное слово, которому водяной и все его чертенята повиновались так же беспрекословно, как ужи и жабы, жившие под скрынями и на плотине.

С ребятами я ловил пискарей и гольцов, которых было великое множество в нашей узенькой, но чистой речке Гостомле; но, по серьёзности моего характера, более держался общества дедушки Ильи, опытный ум которого открывал мне полный таинственной прелести мир, который был совсем мне, городскому мальчику, неизвестен. От Ильи я узнал и про домового, который спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение под колёсами, и про кикимору, которая была так застенчива и непостоянна, что пряталась от всякого нескромного взгляда в разных пыльных замётах -- то в риге, то в овине, то на толчее, где осенью толкли замашки. Меньше всех дедушка знал про лешего, потому что этот жил где-то далеко у Селиванова двора и только иногда заходил к нам в густой ракитник, чтобы сделать себе новую ракитовую дудку и поиграть на ней в тени у сажалок. Впрочем, дедушка Илья во всю свою богатую приключениями жизнь видел лешего лицом к лицу всего только один раз и то на Николин день, когда у нас бывал храмовой праздник. Леший подошёл к Илье, прикинувшись совсем смиренным мужичком, и попросил понюхать табачку. А когда дедушка сказал ему: "чёрт с тобой -- понюхай!" и при этом открыл тавлинку, -- то леший не мог более соблюсти хорошего поведения и сошкольничал: он так поддал ладонью под табакерку, что запорошил доброму мельнику все глаза.

Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, и их густое, образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовидцем. По крайней мере, когда я однажды заглянул с большим риском в толчейный амбар, то глаз мой обнаружил такую остроту и тонкость, что видел сидевшую там в пыли кикимору. Она была неумытая, в пыльном повойнике и с золотушными глазами. А когда я, испуганный этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое моё чувство -- слух -- обнаружило присутствие лешего. Я не могу поручиться, где именно он сидел, -- вероятно, на какой-нибудь высокой раките, но только, когда я бежал от кикиморы, леший во всю мочь засвистал на своей зеленой дудке и так сильно прихватил меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинки.

Едва переводя дух, я сообщил всё это домашним и за своё чистосердечие был посажен в комнате читать священную историю, пока посланный босой мальчик сходил в соседнее село к солдату, который мог исправить повреждение, сделанное лешим в моей ботинке. Но и самое чтение священной истории не защищало уже меня от веры в те сверхъестественные существа, с которыми я, можно сказать, сживался при посредстве дедушки Ильи. Я хорошо знал и любил священную историю, -- я и до сих пор готов её перечитывать, а всё-таки ребячий милый мир тех сказочных существ, о которых наговорил мне дедушка Илья, казался мне необходимым. Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народной фантазией.

В числе неприятных последствий от лешевой дудки было ещё то, что дедушка Илья за прочитанные им для меня курсы демонологии получил от матушки выговор и некоторое время меня дичился и будто не хотел продолжать моего образования. Он даже притворялся, будто гонит меня от себя прочь.

-- Пошёл от меня прочь, иди к своей няньке, -- говорил он, заворачивая меня к себе спиною и поддавая широкой мозолистой ладонью под сиденье.

Но я уже мог гордиться своим возрастом и считать подобное обращение со мною несовместным. Мне было восемь лет, и к няньке своей мне тогда идти было незачем. Я это и дал почувствовать Илье, принеся ему полоскательную чашку вишен из-под слитой наливки.

Дедушка Илья любил эти фрукты -- принял их, смягчился, погладил меня своей мозольной рукой по голове, и между нами снова восстановились самые короткие и самые добрые отношения.

-- Ты вот что, -- говорил мне дедушка Илья, -- ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать, но того, что от мужика услышишь, не всем сказывай. А не то -- прогоню.

С тех пор я стал таить всё, что слышал от мельника, и зато узнал так много интересного, что начал бояться не только ночью, когда все домовые, лешие и кикиморы становятся очень дерзновенны и наглы, но даже стал бояться и днём. Такой страх овладел мною потому, что дом наш и весь наш край, оказалось, находился во власти одного престрашного разбойника и кровожадного чародея, который назывался Селиван. Он жил от нас всего в шести верстах, "на разновилье", то есть там, где большой почтовый тракт разветвлялся на два: одна, новая дорога шла на Киев, а другая, старая, с дуплистыми ракетами "екатерининского насаждения", вела на Фатеж. Эта теперь уже брошена и лежит запусте.

В версте за этим разновильем был хороший дубовый лес, а при лесе -- самый дрянной, совершенно раскрытый и полуобвалившийся постоялый двор, в котором, говорили, будто никто никогда не останавливался. И этому можно было легко верить, потому, что двор не представлял никаких удобств для постоя, и потому, что отсюда было слишком близко до города Кром, где и в те полудикие времена можно было надеяться найти тёплую горницу, самовар и калачи второй руки. Вот в этом-то ужасном дворе, где никто никогда не останавливался, и жил "пустой дворник" Селиван, ужасный человек, с которым никто не рад был встретиться.

Глава третья

Повесть "пустого дворника" Селивана, по словам дедушки Ильи, была следующая. Селиван был кромский мещанин; родители его рано умерли, а он жил в мальчиках у калачника и продавал калачи у кабака за Орловской заставой.

Мальчик он был хороший, добрый и послушный, но только калачнику всегда говорили, что с Селиваном требовалась осторожность, потому что у него на лице была красная метинка, как огонь, -- а это никогда даром не ставится. Были такие люди, которые знали на это и особенную пословицу: "Бог плута метит". Хозяин-калачник очень хвалил Селивана за его усердие и верность, но все другие люди, по искреннему своему доброжелательству, говорили, что истинное благоразумие всё-таки заставляет его остерегаться и много ему не доверять, -- потому что "бог плута метит". Если метка на его лице положена, то это именно для того, чтобы все слишком доверчивые люди его остерегались. Калачник не хотел отстать от людей умных, но Селиван был очень хороший работник. Калачи он продавал исправно и всякий вечер аккуратно высыпал хозяину из большого кожаного кошелька все пятаки и гривны, сколько выручил от проезжавших мужичков. Однако метка лежала на нём не даром, а до случая (это уже всегда так бывает). Пришёл в Кромы из Орла "отслужившийся палач", по имени Борька, и сказано было ему: "Ты был палач, Борька, а теперь тебе у нас жить будет горько", -- и все, насколько кто мог, старались, чтобы такие слова не остались для отставного палача вотще. А когда палач Борька пришёл из Орла в Кромы, с ним уже была дочь, девочка лет пятнадцати, которая родилась в остроге, -- хотя многие думали, что ей бы лучше совсем не родиться.

Пришли они в Кромы жить по приписке. Это теперь непонятно, но тогда бывало так, что отслужившимся палачам позволялось приписываться к каким-нибудь городишкам, и делалось это просто, ни у кого на то желания и согласия не спрашивая. Так случилось и с Борькой: велел какой-то губернатор приписать этого старого палача в Кромах -- его и приписали, а он пришёл сюда жить и привёл с собою дочку. Но только в Кромах палач, разумеется, ни для кого не был желанным гостем, а, напротив, все им пренебрегали, как люди чистые, и ни его, ни его девочку решительно никто не захотел пустить к себе на двор. А время, когда они пришли, было уже очень холодное.

Попросился палач в один дом, потом в другой и не стал более докучать. Он видел, что не возбуждает ни в ком ни малейшего сострадания, и знал, что вполне этого заслужил.

"Но дитя! -- думал он. -- Дитя не виновато в моих грехах, -- кто-нибудь пожалеет дитя".

И Борька опять пошёл стучаться из двора во двор, прося взять если не его, то только девчонку... Он заклинал, что никогда даже не придёт, чтобы навестить дочь.

Но и эта просьба была так же напрасна.

Кому охота с палачом знаться?

И вот, обойдя городишко, стали эти злополучные пришельцы опять проситься в острог. Там хоть можно было обогреться от осенней мокроты и стужи. Но и в острог их не взяли, потому что срок их острожной неволи минул, и они теперь

были люди вольные. Они были свободны умереть под любым забором или в любой канаве.

Милостыню палачу с дочерью иногда подавали, не для них, конечно, а Христа ради, но в дом никуда не пускали. Старик с дочерью не имели приюта и ночевали то где-нибудь под кручею, в глинокопных ямах, то в опустелых сторожевых шалашах на огородах, по долине. Суровую долю их делила тощая собака, которая пришла с ними из Орла.

Это был большой лохматый пёс, на котором вся шерсть завойлочилась в войлок. Чем она питалась при своих нищих-хозяевах -- это никому не было известно, но, наконец, догадались, что ей вовсе и не нужно было питаться, потому что она была "бесчеревная", то есть у неё были только кости да кожа и жёлтые, истомлённые глаза, а "в середине" у неё ничего не было, и потому пища ей вовсе не требовалась.

Дедушка Илья рассказывал мне, как этого можно достигать "самым лёгким манером". Любую собаку, пока она щенком, стоит только раз напоить жидко расплавленным оловом или свинцом, и она делается без черева и может не есть. Но, разумеется, при этом необходимо знать "особливое, колдовское слово". А за то, что палач, очевидно, знал этакое слово, -- люди строгой нравственности убили его собаку. Оно, конечно, так и следовало, чтобы не давать поблажки колдовству; но это было большим несчастьем для нищих, так как девочка спала вместе с собакою, и та уделяла ребёнку часть теплоты, которую имела в своей шерсти. Однако для таких пустяков, разумеется, нельзя было потворствовать волшебствам, и все были того мнения, что собака уничтожена совершенно правильно. Пусть колдунам не удаётся морочить правоверных.

Глава четвёртая

После уничтожения собаки девочку согревал в шалашах сам палач, но он уже был стар, и, к его счастью, ему недолго пришлось нести эту непосильную для него заботу. В одну морозную ночь дитя ощутило, что отец её застыл более, чем она сама, и ей сделалось так страшно, что она от него отодвинулась и даже от ужаса потеряла сознание. До утра пробыла она в объятиях смерти. Когда стало светать и люди, шедшие к заутрене, заглянули из любопытства в шалаш, то они увидели отца и дочь закоченевшими. Девочку кое-как отогрели, и когда она увидела у отца странно остолбенелые глаза и дико оскаленные зубы, тогда поняла в чём дело и зарыдала.

Старика схоронили за кладбищем, потому что он жил скверно и умер без покаяния, а про его девочку немножко позабыли... Правда, не надолго, всего на какой-нибудь месяц, но когда про неё через месяц вспомнили, -- её уже негде было отыскивать.

Можно было думать, что сиротка куда-нибудь убежала в другой город или пошла просить милостыню по деревням. Гораздо любопытнее было то, что с исчезновением сиротки соединилось другое странное обстоятельство: прежде чем хватились девочки, было замечено, что без вести пропал куда-то калачник Селиван.

Он пропал совершенно неожиданно, и притом так необдуманно, как не делал ещё до него никакой другой беглец. Селиван решительно ничего ни у кого не унёс, и даже все данные ему для продажи калачи лежали на его лотке, и тут же уцелели все деньги, которые он выручил за то, что продал; но сам он домой не возвращался.

И оба эти сироты считались без вести пропавшими целых три года.

Вдруг, однажды, приезжает с ярмарки купец, которому принадлежал давно опустелый постоялый двор "на разновилье", и говорит, что с ним было несчастье: ехал он, да плохо направил на гать свою лошадь, и его воз придавил, но его спас неизвестный бродяжка.

Бродяжка этот был им узнан, и оказалось, что это не кто иной, как Селиван.

Спасённый Селиваном купец был не из таких людей, которые совсем нечувствительны к оказанной им услуге; чтобы не подлежать на страшном суде ответу за неблагодарность, он захотел сделать добро бродяге.

-- Я должен тебя осчастливить, -- сказал он Селивану, -- у меня есть пустой двор на разновилье, иди туда и сиди в нём дворником и продавай овёс и сено, а мне плати всего сто рублей в год аренды.

Селиван знал, что на шестой версте от городка, по запустевшей дороге, постоялому двору не место, и, в нём сидючи, никакого заезда ждать невозможно; но, однако, как это был ещё первый случай, когда ему предлагали иметь свой угол, то он согласился.

Купец пустил.

Глава пятая

Селиван приехал во двор с маленькой ручной одноколёсной навозницей, в которой у него местились пожитки, а на них лежала, закинув назад голову, большая женщина в жалких лохмотьях.

Люди спросили у Селивана:

-- Кто это такая?

Он отвечал:

-- Это моя жена.

-- Из каких она мест родом?

Селиван кротко отвечал:

-- Из божьих.

-- Чем она больна?

-- Ногами недужна.

-- А отчего она так недужает?

Селиван, насупясь, буркнул.

-- От земного холода.

Больше он не стал говорить ни слова, поднял на руки свою немощную калеку и понёс её в избу.

Словоохотливости и вообще приятной общительности в Селиване не было; людей он избегал, и даже как будто боялся, и в городе не показывался, а жены его совсем никто не видал с тех пор, как он её сюда привёз в ручной навозной тележке. Но с тех пор, когда это случилось, уже прошло много лет, -- молодые люди тогдашнего века уже успели состариться, а двор в разновилье ещё более обветшал и развалился; но Селиван и его убогая калека всё жили здесь и, к общему удивлению, платили за двор наследникам купца какую-то плату.

Откуда же этот чудак выручал всё то, что было нужно на его собственные нужды и на то, что следовало платить за совершенно разрушенный двор? Все знали, что сюда никогда не заглядывал ни один проезжающий и не кормил здесь своих лошадей ни один обоз, а между тем Селиван хотя жил бедственно, но всё ещё не умирал с голода.

Вот в этом-то и был вопрос, который, впрочем, не очень долго томил окрестное крестьянство. Скоро все поняли, что Селиван знался с нечистой силою... Эта нечистая сила и устраивала ему довольно выгодные и для обыкновенных людей даже невозможные делишки.

Известно, что дьявол и его помощники имеют большую охоту делать людям всякое зло; но особенно им нравится вынимать из людей души так неожиданно, чтобы они не успели очиститься покаянием. Кто из людей помогает таким проискам, тому вся нечистая сила, то есть все лешие, водяные и кикиморы охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях. Помогаящий чертям должен сам за ними последовать в ад, -- рано или поздно, но непременно. Селиван находился именно на этом роковом положении. Чтобы кое-как жить в своём разорённом домишке, он давно продал свою душу нескольким чертям сразу, а эти с тех пор начали загонять к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто. Делалось это таким образом, что лешие, сговорясь с кикиморами, вдруг перед ночью поднимали вьюги и метели, при которых дорожный человек растеривался и спешил спрятаться от разгулявшейся стихии куда попало. Селиван тогда сейчас же и выкидывал хитрость: он выставлял огонь на своё окошко и на этот свет к нему попадали купцы с толстыми черепами, дворяне с потайными шкатулками и попы с меховыми треухами, подложенными во всю ширь денежными бумажками. Это была ловушка. Назад из Селивановых ворот уже не было поворота ни одному из тех, кто приехал. Куда их девал Селиван, -- про то никому не было известно.

Дедушка Илья, договорившись до этого, только проводил по воздуху рукой и внушительно произносил:

-- Сова летит, лунь плывёт -- ничего не видно: буря, метель и... ночь матка -- всё гладко.

Чтобы не уронить себя во мнении дедушки Ильи, я притворялся, будто понимаю, что значит "сова летит и лунь плывёт", а понимал я только одно, что Селиван -- это какое-то общее пугало, с которым чрезвычайно опасно встретиться... Не дай бог этого никому на свете.

Я, впрочем, старался проверить страшные рассказы про Селивана и от других людей, но все в одно слово говорили то же самое. Все смотрели на Селивана как на страшное пугало, и все так же, как дедушка Илья, строго заказывали мне, чтобы я "дома, в хоромах, никому про Селивана не сказывал". По совету мельника, я эту мужичью заповедь исполнял до особого страшного случая, когда я сам попался в лапы Селивану.

Глава шестая

Зимою, когда в доме вставили двойные рамы, я не мог по-прежнему часто видеться с дедушкой Ильёй и с другими мужиками. Меня берегли от морозов, а они все остались работать на холоду, причём с одним из них произошла неприятная история, выдвинувшая опять на сцену Селивана.

В самом начале зимы племянник Ильи, мужик Николай, пошёл на свои именины в Кромы, в гости, и не возвратился, а через две недели его нашли на опушке у Селиванова леса. Николай сидел на пне, опершись бородою на палочку, и, по-видимому, отдыхал после такой сильной усталости, что не заметил, как метель замела его выше колен снегом, а лисицы обкусаили ему нос и щёки.

Очевидно, Николай сбился с дороги, устал и замёрз; но все знали, что это вышло неспроста и не без Селивановой вины. Я узнал об этом через девушек, которых было у нас в комнатах очень много и все они большею частью назывались Аннушками. Была Аннушка большая, Аннушка меньшая, Аннушка рябая и Аннушка круглая, и потом ещё Аннушка, по прозвищу "Шмбаёнок". Эта последняя была у нас в своём роде фельетонистом и репортёром. Она по своему живому и резвому характеру получила и свою бойкую кличку.

Не Аннушками звали только двух девушек -- Неонилу да Настю, которые числились на некотором особом положении, потому что получили особенное воспитание в тогдашнем модном орловском магазине мадам Морозовой, да ещё были в доме три побегушки-девочки -- Оська, Моська и Роська. Крёстное имя одной из них было Матрена, другой Раиса, а как звали по-настоящему Оську -- этого я не знаю. Моська, Оська и Роська находились ещё в малолетстве, и потому к ним все относились довольно презрительно. Они ещё бегали босиком

и не имели права садиться на стульях, а присаживались внизу, на подножных скамейках. По должности они исполняли разные унижительные поручения, как-то: чистили тазы, выносили умывальные лоханки, провожали гулять комнатных собачек и бегали скороходами на посылках за кухонными людьми и на деревню. В теперешних помещичьих домах уже нигде нет такого излишнего многолюдства, но тогда оно казалось необходимым.

Все наши девы и девчонки, разумеется, много знали о страшном Селиване, вблизи двора которого замёрз мужик Николай. По этому случаю теперь вспомнили Селивану все его старые проделки, о которых я прежде и не знал. Теперь обнаружилось, что кучер Константин, едучи один раз в город за говядиной, слышал, как из окна Селивановой избы неслись жалобные стоны и слышались слова: "Ой, ручку больно! Ой, пальчик режет".

Девушка, Аннушка большая, объясняла это так, что Селиван забрал к себе во время метели (по-орловски -- куры) целый господский возок с целым дворянским семейством и медленно отрезал дворянским детям пальчик за пальчиком. Это страшное варварство ужасно меня перепугало. Потом башмачнику Ивану приключилось что-то ещё более страшное и вдобавок необъяснимое. Раз, когда его послали в город за сапожным товаром и он, позамешкавшись, возвращался домой тёмным вечером, то поднялась маленькая метель, -- а это составляло первое удовольствие для Селивана. Он сейчас же вставал и выходил на поле, чтобы вейтаться во мгле вместе с Ягою, лешими и кикиморами. И башмачник это знал и остерегался, но не остерегся. Селиван выскочил у него перед самым носом и загородил ему дорогу... Лошадь стала. Но башмачник, к его счастью, от природы был смел и очень находчив. Он подошёл к Селивану, будто с ласкою, и проговорил: "Здравствуй, пожалуйста", а в это самое время из рукава кольнул его самым большим и острым шилом прямо в живот. Это единственное место, в которое можно ранить колдуна насмерть, но Селиван спасся тем, что немедленно обратился в толстый верстовой столб, в котором острый инструмент башмачника застрял так крепко, что башмачник никак не мог его вытащить и должен был расстаться с шилом, между тем как оно ему было решительно необходимо.

Этот последний случай был даже обидною насмешкою над честными людьми и убедил всех, что Селиван действительно был не только великий злодей и лукавый колдун, но и нахал, которому нельзя было давать спуска. Тогда его решили проучить строго; но Селиван тоже не был промах и научился новой хитрости: он начал "скидываться", то есть при малейшей опасности, даже просто при всякой встрече, он стал изменять свой человеческий вид и у всех на глазах обращаться в различные одушевлённые и неодушевлённые предметы. Правда, что благодаря общему против него возбуждению, он и при такой ловкости всё-таки немножко страдал, но искоренить его никак не удавалось, а борьба с ним иногда даже принимала немножко смешной характер, что всех ещё

более обижало и злило. Так, например, после того, когда башмачник изо всей силы проколол его шилом и Селиван спасся только тем, что успел скинуться верстовым столбам, несколько человек видели это шило торчавшим в настоящем верстовом столбе. Они пробовали даже его оттуда вытащить, но шило сломалось, и башмачнику привезли только одну ничего не стоящую деревянную ручку.

Селиван же и после этого ходил по лесу, как будто его даже совсем и не кололи, и скидывался кабаном до такой степени истово, что ел дубовые жёлуди с удовольствием, как будто такой фрукт мог приходиться ему по вкусу. Но чаще всего он вылезал под видом красного петуха на свою чёрную растрёпанную крышу и кричал оттуда "ку-ка-реку!" Все знали, что его, разумеется, занимало не пение "ку-ка-реку", а он высматривал, не едет ли кто-нибудь такой, против кого стоило бы подучить лешего и кикимору поднять хорошую бурю и затормозить его до смерти. Словом, окрестные люди так хорошо отгадывали все его хитрости, что никогда не поддавались злодею в его сети и даже порядком мстили Селивану за его коварство. Один раз, когда он, скинувшись кабаном, встретился с кузнецом Савельем, который шёл пешком из Кром со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка, но кузнец остался победителем благодаря тому, что у него, к счастью, случилась в руках претяжёлая дубина. Оборотень притворился, будто он не желает обращать на кузнеца ни малейшего внимания и, тяжело похрюкивая, чавкал жёлуди; но кузнец проник острым умом его замысел, который состоял в том, чтобы пропустить его мимо себя и потом напасть на него сзади, сбить с ног и съесть вместо жёлудя. Кузнец решил предупредить беду; он поднял высоко над головою свою дубину и так треснул ею кабана по храпе, что тот жалобно взвизгнул, упал и более уже не поднимался. А когда кузнец после этого начал поспешно уходить, то Селиван опять принял на себя свой человеческий вид и долго смотрел на кузнеца со своего крылечка -- очевидно, имея против него какое-то самое недружелюбное намерение.

После этой ужасной встречи кузнеца даже была лихорадка, от которой он спасся единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, который ему был прислан из горницы для приёма.

Кузнец слыл за человека очень рассудительного и знал, что хина и всякое другое аптечное лекарство против волшебства ничего сделать не могут. Он оттерпелся, завязал на суровой нитке узелок и бросил его гнить в навозную кучу. Этим было всё кончено, потому что как только узелок и нитка сгнили, так и сила Селивана должна была кончиться. И это так и сделалось. Селиван после этого случая в свинью уже никогда более не скидывался, или по крайней мере с тех пор его никто решительно не встречал в этом неопрятном виде.

С проказами же Селивана в образе красного петуха было ещё удачнее: на него ополчился косой мирошник Савка, преудалый парень, который действовал всех предусмотрительнее и ловчее.

Будучи послан раз в город на подторжье, он ехал верхом на очень ленивой и упрямой лошади. Зная такой нрав своего коня, Савка взял с собою на всякий случай потихоньку хорошее берёзовое полено, которым надеялся запечатлеть сувенир в бока своего меланхолического буцефала. Кое-что в этом роде он и успел уже сделать и настолько переломить характер своего коня, что тот, потеряв терпение, стал понемножку припрыгивать.

Селиван, не ожидая, что Савка так хорошо вооружен, как раз к его приезду выскочил петухом на застреху и начал вертеться, глазеть на все стороны да петь "ку-ка-ре-ку!" Савка не сробел колдуна, а, напротив, сказал ему: "Э, брат, врешь -- не уйдешь", и с этим, недолго думая, так ловко швырнул в него своим поленом, что тот даже не допел до конца своего "ку-ка-реку" и свалился мёртвым. По несчастью, он только упал не на улицу, а во двор, где ему ничего не стоило, коснувшись земли, опять принять на себя свой природный человеческий образ. Он сделался Селиваном и, выбежав, погнался за Савкою, имея в руке то же самое полено, которым его угостил Савка, когда он пел петухом на крыше.

По рассказам Савки, Селиван в этот раз был так взбешён, что Савке могло прийти от него очень плохо; но Савка был парень сообразительный и отлично знал одну преполезную штуку. Он знал, что его ленивая лошадь сразу забывает о своей лени, если её поворотить домой, к яслям. Он это и сделал. Как только Селиван, вооружённый поленом, на Савку кинулся, -- Савка враз повернул коня в обратный путь и скрылся. Он прискакал домой, не имея на себе лица от страха, и рассказал о бывшей с ним страшной истории только на другой день. И то слава богу, что заговорил, а то боялись, как бы он не остался нем навсегда.

Глава седьмая

Вместо оробевшего Савки был наряжен другой, более смелый посол, который достиг Кром и возвратился назад благополучно. Однако и этот, совершив путешествие, говорил, что ему легче бы сквозь землю провалиться, чем ехать мимо Селиванова двора. То же самое чувствовали и другие: страх стал всеобщий; но зато со стороны всех вообще началось и за Селиваном всеобщее усиленное смотрение. Где бы и чем бы он ни скидывался, его везде постоянно обнаруживали и во всех видах стремились пресечь его вредное существование. Являлся ли Селиван у своего двора овцою или теленком, -- его всё равно узнавали и били, и ни в каком виде ему не удавалось укрыться. Даже когда он один раз выкатился на улицу в виде нового свежeweысмoленного тележного колеса и лёг на солнце сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и

умные люди разбили колесо на мелкие части так, что и втулка и спицы разлетелись в разные стороны.

Обо всех этих происшествиях, составлявших героическую эпопею моего детства, мною своевременно получались скорые и самые достоверные сведения. Быстроте известий много содействовало то, что у нас на мельнице всегда случалась отменная заезжая публика, приезжавшая за помолом. Пока мельничные жернова мололи привезённые ими хлебные зёрна, уста помольцев ещё усерднее мололи всяческий вздор, а оттуда все любопытные истории приносились в девичью Моською и Росьюкою и потом в наилучшей редакции сообщались мне, а я начинал о них думать целые ночи и создавал презанимательные положения для себя и для Селивана, к которому я, несмотря на всё, что о нём слышал, -- питал в глубине моей души большое сердечное влечение. Я бесповоротно верил, что настанет час, когда мы с Селиваном как-то необыкновенно встретимся -- и даже полюбим друг друга гораздо более, чем я любил дедушку Илью, в котором мне не нравилось то, что у него один, именно левый, глаз всегда немножко смеялся.

Я никак не мог долго верить, что Селиван делает все свои сверхъестественные чудеса с злым намерением к людям, и очень любил о нём думать; и обыкновенно, чуть я начинал засыпать, он мне снился тихим, добрым и даже обиженным. Я его никогда ещё не видал и не умел себе представить его лица по искаженным описаниям рассказчиков, но глаза его я видел, чуть закрывал свои собственные. Это были большие глаза, совсем голубые и предобрые. И пока я спал, мы с Селиваном были в самом приятном согласии: у нас с ним открывались в лесу разные секретные норки, где у нас было напрядано много хлеба, масла и тёплых детских тулупчиков, которые мы доставали, бегом носили к известным нам избам по деревням, клали на слуховое окно, стучали, чтобы кто-нибудь выглянул, и сами убегали.

Это были, кажется, самые прекрасные сновидения в моей жизни, и я всегда сожалел, что с пробуждением Селиван опять делался для меня тем разбойником, против которого всякий добрый человек должен был принимать все меры предосторожности. Признаться, я и сам не хотел отстать от других, и хотя во сне я вёл с Селиваном самую тёплую дружбу, но наяву я считал нелишним обеспечить себя от него даже издали.

С этой целью я, путём немалой лести и других унижений, выпросил у ключницы хранившийся у неё в кладовой старый, очень большой кавказский кинжал моего отца. Я подвязал его на кутас, который снял с дядиного гусарского кивера, и мастерски спрятал это оружие в головах, под матрац моей постельки. Если бы Селиван появился ночью в нашем доме, я бы непременно против него выступил.

Об этом скрытом цейхгаузе не знали ни отец, ни мать, и это было совершенно необходимо, потому что иначе кинжал у меня, конечно, был бы отобран, а тогда

Селиван мог помешать мне спать спокойно, потому что я всё-таки его ужасно боялся. А он между тем уже делал к нам подходы, но наши бойкие девушки его сразу же узнали. К нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала он просто шумел по ночам в кладовой, а потом один раз спустился в глубокий долблёный липовый наполь, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приёма гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьёзную домашнюю неприятность -- вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенёс от наших мужиков. Оборотясь рыжею крысою, он вскочил на самое дно в липовый наполь, сдвинул каменный гнеток, который лежал на решете, и съел все колбасы, но зато назад никак не мог выскочить из высокой кады. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни, которую вызвалась произвести над ним самая скорая Аннушка Шибяёнок. Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и с старою вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян на расклеванье воронам. Но при исполнении казни произошла неловкость со стороны Аннушки круглой, она плеснула кипятком на руку самой Аннушке Шибяёнку; та выронила от боли вилку, а в это время крыса укусила её за палец и с удивительным проворством по её же рукаву выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих, сделалась невидимкой.

Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли неловкости наших Аннушек; но мы, которые знали тайные пружины дела, знали и то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван. Рассказать об этом старшим мы, однако, не смели. Как простосердечный народ, мы боялись критики и насмешек над тем, что сами почитали за несомненное и очевидное.

Через порог передней Селиван перешагнуть не решался ни в каком виде, как мне казалось, потому, что он кое-что знал о моём кинжале. И мне это было и лестно и досадно, потому что, собственно говоря, мне уже стали утомительны одни толки и слухи и во мне разгоралось страстное желание встретиться с Селиваном лицом к лицу.

Это во мне обратилось, наконец, в томление, в котором и прошла вся долгая зима с её бесконечными вечерами, а с первыми весенними потоками с гор у нас случилось происшествие, которое расстроило весь порядок жизни и дало волю опасным порывам несдержанных страстей.

Глава восьмая

Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда, по народному выражению, "лужа быка топит", из далёкого тётушкина имения прискакал верховой с роковым известием об опасной болезни дедушки.

Длинный переезд в такую распутицу был сопряжён с большою опасностью; но отца и мать это не остановило, и они пустились в дорогу немедленно. Ехать надо было сто верст, и не иначе, как в простой тележке, потому что ни в каком другом экипаже проехать совсем было невозможно. Телегу сопровождали два вершника с длинными шестами в руках. Они ехали вперёд и ощупывали дорожные просовы. Я и дом были оставлены на попечение особого временного комитета, в состав которого входили разные лица по разным ведомствам. Аннушке большой были подчинены все лица женского пола до Оськи и Роськи; но высший нравственный надзор поручен был старостихе Дементьевне. Интеллигентное же руководство нами -- в рассуждении наблюдения праздников и дней недельных -- было вверено диаконскому сыну Аполлинарию Ивановичу, который, в качестве исключенного из семинарии ритора, состоял при моей особе на линии наставника. Он учил меня латинским склонениям и вообще приготавливал к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс орловской гимназии не совершенным дикарём, которого способны удивить латинская грамматика Белюстина и французская -- Ломонда.

Аполлинарий был юноша светского направления и собирался поступить в "приказные", или, по-нынешнему говоря, в писцы -- в орловское губернское правление, где служил его дядя, имевший презанимательную должность. Если какой-нибудь становой или исправник не исполнял какого-нибудь предписания, то дядю Аполлинария посылали на одной лошади "нарочным" на счёт виновного. Он ездил, не платя за лошадей денег, и, кроме того, получал с виновных дары и презенты и видел разные города и много разных людей разных чинов и обычаев. Мой Аполлинарий тоже имел в виду со временем достичь такого счастья и мог надеяться сделать гораздо более своего дяди, потому что он обладал двумя большими талантами, которые могли быть очень приятны в светском обхождении: Аполлинарий играл на гитаре две песни "Девушка крапивушку жала" и вторую, гораздо более трудную -- "Под вечер осенью ненастной", и, что ещё реже было в тогдашнее время в провинциях, -- он умел сочинять прекрасные стихи дамам, за что, собственно, и был выгнан из семинарии.

Мы с Аполлинарием, несмотря на разницу наших лет, держались как друзья, и, как прилично верным друзьям, мы крепко хранили взаимные тайны. В этом случае на его долю приходилось немножко меньше, чем на мою: мои все секреты заключались в находившемся у меня под матрацем кинжале, а я обязан был глубоко таить два вверенные мне секрета: первый касался спрятанной в шкафе трубки, из которой Аполлинарий курил вечером в печку кисло-сладкие

белые нежинские корешки, а второй был ещё важнее -- здесь дело шло о стихах, написанных Аполлинарием в честь некоей "легконосной Пулхерии".

Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если их хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.

Это предполагало большую и даже в нашем положении непреодолимую трудность, потому что маленьких барышень у нас в доме не было, а барышням взрослым, которые иногда приезжали, Аполлинарий не смел предложить быть его слушательницами, так как он был очень застенчив, а между нашими знакомыми барышнями водились большие насмешницы.

Нужда научила Аполлинария выдумать компромисс, -- именно, продекламировать оду, написанную "Легконосной Пулхерии", перед нашей девушкой Неонилой, которая усвоила себе в модном магазине Морозовой разные отшлифованные городские манеры и, по соображениям Аполлинария, должна была иметь тонкие чувства, необходимые для того, чтобы почувствовать достоинство поэзии.

По малолетству моему я боялся подавать своему учителю советы в его поэтических опытах, но считал его намерение декламировать стихи перед швеёю рискованным. Я, разумеется, судил по себе и хотя брал в соображение, что молоденькой Неониле знакомы некоторые предметы городского круга, но едва ли ей может быть понятен язык высокой поэзии, каким Аполлинарий обращался к воспеваемой им Пулхерии. Притом в оде к "Легконосице" были такие восклицания: "О ты, жестокая!" или "Исчезни с глаз моих!" и тому подобные. Неонила от природы имела робкий и застенчивый характер, и я боялся, что она примет это на свой счёт и непременно расплачется и убежит.

Но всего хуже то, что при обыкновенном строгом домашнем порядке нашей домашней жизни вся эта задуманная ритором поэтическая репетиция была совершенно невозможна. Ни время, ни место, ни даже все другие условия не благоприятствовали тому, чтобы Неонила слушала стихи Аполлинария и была их первою ценительницею. Однако безначалием, которое водворилось у нас с отъездом родителей, всё изменилось, и ритор захотел этим воспользоваться. Теперь мы, забыв всякую разность своих положений, ежедневно играли по вечерам в короли, а Аполлинарий даже курил в комнатах свои нежинские корешки и садился в столовой в отцовском кресле, что меня немножко обижало. Кроме того, по его же настоянию у нас несколько раз была затеяна игра в жмурки, причём мне и брату набили синяки. Потом мы играли в прятки, и раз даже был устроен формальный фестиваль, с большим угощением. Кажется, всё это делалось "на шереметевский счет", как в тогдашнее время бражничали многие неосмотрительные кутилы, по гибельному пути которых направились и мы, увлекаемые ритором. Мне до сих пор неизвестно, от кого тогда были

предложены собранию целый мешочек самых зрелых лесных орехов, добытых из мышиных норок (где обыкновенно бывают только орехи самого высшего сорта). Кроме орехов, были три свёртка серой бумаги с жёлтыми паточными груздиками, подсолнухами и засмоквенной грушей. Последняя очень прочно липла к рукам и не скоро отмывалась.

Так как этот последний фрукт пользовался особым вниманием, то груши давались только в розыгрыш на фанты. Моська, Оська и Роська, по существенному своему ничтожеству, смокв вовсе не получали. В фантах участвовали Аннушка и я да мой наставник Аполлинарий, который оказался очень ловким выдумщиком. Происходило всё это в гостинной комнате, где, бывало, сидели только очень почётные гости. И тут-то, в чаду увлечения веселостями, в Аполлинария вошёл какой-то отчаянный дух, и он задумал ещё более дерзкое предприятие. Он захотел декламировать свою оду в грандиозной и даже ужасающей обстановке, при которой должны были подвергнуться самому высшему напряжению самые сильные нервы. Он начал всех нас подговаривать, чтобы отправиться всем вместе в будущее воскресенье за ландышами в Селиванов лес. А вечером, когда мы с ним ложились спать, он мне открылся, что ландыши тут один только предлог, а главная цель в том, чтобы прочитать стихи в самой ужасной обстановке.

С одной стороны будет действовать страх от Селивана, а с другой -- страх от ужасных стихов... Каково это выйдет и можно ли это выдержать?

Представьте же себе, что мы на это отважились.

В оживлённости, которою все мы были охвачены в этот достопамятный весенний вечер, нам представлялось, что все мы смелы и можем совершить отчаянную штуку безопасно. В самом деле, нас будет много, и притом я возьму, разумеется, свой огромный кавказский кинжал.

Признаться, мне очень хотелось, чтобы и все другие вооружились сообразно своей силе и возможности, но я ни у кого не встретил к этому должного внимания и готовности. Аполлинарий брал только чубук да гитару, а с девушками ехали таганы, сковороды, котелки с яйцами и чугунок. В чугунке предполагалось варить пшённый кулеш с салом, а на сковороде жарить яичницу, и в этом смысле они были прекрасны; но в смысле обороны, на случай возможных проделок со стороны Селивана, решительно ничего не значили.

Впрочем, по правде сказать, я был и ещё кое за что недоволен моими компаньонами, а именно -- я не чувствовал с их стороны того внимания к Селивану, каким я сам был проникнут. Они и боялись его, но как-то легкомысленно, и даже рисковали критически над ним подтрунивать. Одна Аннушка говорила, что она возьмёт пирожную скалку и скалкой его убьет, а Шибайенок смеялась, что она его загрызть может, и при этом показывала свои белые-пребелые зубы и перекусывала ими кусочек проволоки. Всё это как-то не солидно; всех превзошёл ритор. Он совсем отвергал существование Селивана --

говорил, что его даже никогда не было и что он просто есть изобретение фантазии, такое же, как Пифон, Цербер и тому подобное.

Тогда я первый раз видел, до чего способен человек увлекаться в отрицаниях! К чему же тогда вся риторика, если она позволяет поставить на одну ступень вероятность баснословного Пифона с Селиваном, действительное существование которого подтверждалось множеством очевидных событий.

Я этому соблазну не поддался и сберёг мою веру в Селивана. Даже более того, я верил, что ритор за своё неверие будет непременно наказан.

Впрочем, если не строго относиться к этим философствам, то затеянная поездка в лес обещала много весёлости, и никто не хотел или не мог заставить себя приготовиться к явлениям другого сорта. А меж тем благоразумие заставляло весьма поостеречься в этом проклятом лесу, где мы будем, так сказать, в самой пасти у зверя.

Все думали только о том, как им весело будет разбрестись по лесу, куда все боятся ходить, а они не боятся. Размышляли о том, как мы пройдем насквозь весь опасный лес, аукаясь, перекликаясь и перепрыгивая ямки и овражки, в которых дотлевают последние снеги, а и не подумали, будет ли всё это одобрено, когда возвратится наше высшее начальство. Впрочем, мы зато имели в виду изготовить на туалет мамы два большие букета из лучших ландышей, а из остальных сделать душистый перегон, который во всё предстоящее лето будет давать превосходное умыванье от загара.

Глава девятая

Нетерпеливо дождавшись воскресенья, мы оставили в доме на хозяйстве старостиху Дементьевну, а сами отправились к Селиванову лесу. Вся публика шла пешком, держась более просохших высоких рубежей, где уже зеленела первая изумрудная травка, а по дороге следовал обоз, состоявший из телеги, запряжённой старою буланою лошадыю. На телеге лежала Аполлинариева гитара и взятые на случай ненастья девичьи кацавейки. Правил лошадыю я, а назад, в качестве пассажиров, помещались Роська и другие девчонки, из которых одна бережно везла в коленях кошёлочку с яйцами, а другая имела общее попечение о различных предметах, но наиболее поддерживала рукою мой огромный кинжал, который был у меня подвешен через плечо на старом гусарском шнуре от дядина этишкета и болтался из стороны в сторону, значительно затрудняя мои движения и отрывая моё внимание от управления лошадыю.

Девушки, идучи по рубежу, пели: "Распашу ль я пашеньку, посею ль я лён-конопель", а ритор им вторил басом. Попадавшие нам навстречу мужики кланялись и опрашивали:

-- Куда поднялись?

Аннушки им отвечали:

-- Идём Селиванку в плен брать.

Мужики помахивали головами и говорили:

-- Угорелые!

Мы и действительно были в каком-то чаду, нас охватила неудержимая полудетская потребность бегать, петь, смеяться и делать всё очертя голову.

А между тем час езды по скверной дороге начал на меня действовать неблагоприятно -- старый буланый мне надоел, и во мне охладела охота держать в руках верёвочные вожжи; но невдалеке, на горизонте, засинел Селиванов лес, и всё ожило. Сердце забилося и заныло, как у Вара при входе в Тевтобургские дебри. А в это же время из-под талой межи выскочил заяц и, пробежав через дорогу, понёсся по полю.

-- Фуй, чтоб тебе пусто было! -- закричали вслед ему Аннушки.

Они все знали, что встреча с зайцем к добру никогда не бывает. И я тоже струсил и схватился за свой кинжал, но так увлёкся заботами об извлечении его из заржавевших ножен, что не заметил, как выпустил из рук вожжи и, с совершенною для себя неожиданностью, очутился под опрокинувшею телегою, которую потянувшийся на рубеж за травкою буланый повернул самым правильным образом, так что все четыре колеса очутились вверху, а я с Роськой и со всею нашею провизиею явились под спудом...

Это несчастье с нами случилось моментально, но последствия его были неисчислимы: гитара Аполлинария была разломана вдребезги, а разбитые яйца текли и заклеивали нам лица своим содержимым. Вдобавок Роська ревела.

Я был всемерно подавлен и сконфужен и до того растерялся, что даже желал, чтобы нас лучше совсем не освобождали; но я уже слышал голоса всех Аннушек, которые, трудясь над нашим освобождением, тут же, очень выгодно для меня, разъяснили причину нашего падения. Я и буланый были тут ни в чём не причинны: всё это было делом Селивана.

Это была первая хитрость, чтобы не допустить нас к его лесу; но, однако, она никого сильно не испугала, а, напротив, только привела всех в большое негодование и увеличила решимость во что бы то ни стало исполнить всю задуманную нами программу.

Нужно было только поднять телегу, поставить нас на ноги, смыть с нас где-нибудь у ручейка неприятную яичную слизь и посмотреть, что уцелело после нашего крушения из вещей, взятых для дневного продовольствия нашей многочисленной группы.

Всё это и было кое-как сделано. Меня и Роську вымыли у ручья, который бежал под самым Селивановым лесом, и когда глаза мои раскрылись, то свет мне показался очень невзрачным. Розовые платья девочек и мой новый бешмет из голубого кашемира были никуда не годны: покрывшие их грязь и яйца совсем их испортили и не могли быть отмыты без мыла, которого мы с собой не

захватили. Чугун и сковородка были расколоты, от тагана валялись одни ножки, а от гитары Аполлинария остался один гриф с закрутившимися на нём струнами. Хлеб и другая сухая провизия были в грязи. По меньшей мере нам угрожал целоденный голод, если не считать ни во что других ужасов, которые чувствовались во всём окружающем. В долине над ручьём свистел ветер, а чёрный, ещё не убранный зеленью лес шумел и зловеще махал на нас своими прутьями.

Настроение духа во всех нас значительно понизилось, -- особенно в Роське, которая озябла и плакала. Но, однако, мы всё-таки решили вступить в Селиваново царство, а дальше пусть будет что будет.

Во всяком случае, одно и то же приключение без какой-нибудь перемены не могло повториться,

Глава десятая

Все перекрестились и начали входить в лес. Входили робко и нерешительно, но каждый скрывал от других свою робость. Все только уговаривались как можно чаще перекликаться. Но, впрочем, не оказалось и большой нужды в перекличке, потому что никто далеко вглубь не ушёл, все мы как будто случайно беспрестанно сучивались к краю и тянулись верёвочкой вдоль опушки. Один Аполлинария оказался смелее других и несколько углубился в чащу: он заботился найти самое глухое и страшное место, где его декламация могла бы произвести как можно более ужасное впечатление на слушательниц; но зато, чуть только Аполлинарий скрылся из вида, лес вдруг огласился его пронзительным, неистовым криком. Никто не мог себе вообразить, какая опасность встретила Аполлинария, но все его покинули и бросились бежать вон из леса на поляну, а потом, не оглядываясь назад, -- дальше, по дороге к дому. Так бежали все Аннушки и все Моськи, а за ними, продолжая кричать от страха, пронёсся и сам педагог, а мы с маленьким братом остались одни.

Из всей нашей компании не осталось никого: нас покинули не только все люди, но бесчеловечному примеру людей последовала и лошадь. Перепуганная их криком, она замотала головою и, повернув прочь от леса, помчалась домой, разбросав по ямам и рытвинам всё, что ещё оставалось до сих пор в тележке.

Это было не отступление, а полное и самое позорное бегство, потому что оно сопровождалось не только потерей обоза, но и утратой всего здравого смысла, причём мы, дети, были кинуты на произвол судьбы.

Бог знает, что нам довелось бы испытать в нашем беспомощном сиротстве, которое было тем опаснее, что мы одни дороги домой найти не могли и наша обувь, состоявшая из мягких козловых башмачков на тонкой рантовой подшивке, не представляла удобства для перехода в четыре версты по сырым тропинкам, на которых ещё во многих местах стояли холодные лужи. В

довершение беды, прежде чем мы с братом успели себе представить вполне весь ужас нашего положения, по лесу что-то зарокотало, и потом с противоположной стороны от ручья на нас дунуло и потянуло холодной влагой.

Мы поглядели за лощину и увидали, что с той стороны, куда лежит наш путь и куда позорно бежала наша свита, неслась по небу огромная дождевая туча с весенним дождём и с первым весенним громом, при котором молодые девушки умываются с серебряной ложечки, чтобы самим стать белей серебра.

Видя себя в таком отчаянном положении, я готов был расплакаться, а мой маленький брат уже плакал. Он весь посинел и дрожал от страха и холода и, склонясь головою под кустик, жарко молился богу.

Бог, кажется, внял его детской мольбе, и нам было послано невидимое спасение. В ту самую минуту, когда прогремел гром и мы теряли последнее мужество, в лесу за кустами послышался треск, и из-за густых ветвей рослого орешника выглянуло широкое лицо незнакомого нам мужика. Лицо это показалось нам до такой степени страшным, что мы вскрикнули и стремглав бросились бежать к ручью.

Не помня себя, мы перебежали лощину, кувырком слетели с мокрого, осыпавшегося бережка и прямо очутились по пояс в мутной воде, между тем как ноги наши до колен увязли в тине.

Бежать дальше не было никакой возможности. Ручей дальше был слишком глубок для нашего маленького роста, и мы не могли надеяться перейти через него, а притом по его струям теперь страшно сверкали зигзаги молнии -- они трепетали и вились, как огненные змеи, и точно прятались в прошлогодних оставшихся водорослях.

Очутясь в воде, мы схватили друг друга за руки и стали в оцепенении, а сверху на нас уже падали тяжёлые капли полившего дождя. Но это оцепенение и сохранило нас от большой опасности, которой мы никак бы не избежали, если бы сделали ещё хотя один шаг далее в воду.

Мы легко могли поскользнуться и упасть, но, к счастью, нас обвили две чёрные жилистые руки -- и тот самый мужик, который выглянул на нас страшно из орешника, ласково проговорил:

-- Эх вы, глупые ребятки, куда залезли!

И с этим он взял и понёс нас через ручей.

Выйдя на другой берег, он опустил нас на землю, снял с себя коротенькую свитку, которая была у него застёгнута у ворота круглою медною пуговкою, и обтёр этою свиткою наши мокрые ноги.

Мы на него смотрели в это время совершенно потерянно и чувствовали себя вполне в его власти, но -- чудное дело -- черты его лица в наших глазах быстро изменялись. В них мы уже не только не видели ничего страшного, но, напротив, лицо его нам казалось очень добрым и приятным.

Это был мужик плотный, коренастый, с проседью в голове и в усах, -- борода комком и тоже с проседью, глаза живые, быстрые и серьёзные, но в устах что-то близкое к улыбке.

Сняв с наших ног, насколько мог, грязь и тину полою своей свитки, он даже совсем улыбнулся и опять заговорил:

-- Вы того... ничего... не пужайтесь...

С этим он оглянулся по сторонам и продолжал:

-- Ничего; сейчас большой дождь пойдёт! (Он уже шёл и тогда.) Вам, ребяташки, пешком не дойти.

Мы в ответ ему только молча плакали.

-- Ничего, ничего, не голосите, я вас донесу на себе! -- заговорил он и утёр своею ладонью заплаканное лицо брата, отчего у того сейчас же показались на лице грязные полосы.

-- Вон ишь, какие мужичьи руки-то грязные, -- сказал наш избавитель и провёл ещё раз по лицу брата ладонью в другую сторону, -- отчего грязь не убавилась, а только получила растушковку в другую сторону.

-- Вам не дойти... Я вас поведу... да, не дойти... и в грязи черевички спадут [башмаки -- по-орловски черевички. -- Прим автора.].

-- Умеете ли верхам ездить? -- заговорил снова мужик.

Я взял смелость проронить слово и ответил:

-- Умею.

-- А умеешь, то и ладно! -- молвил он и в одно мгновение вскинул меня на одно плечо, а брата -- на другое, велел нам взяться друг с другом руками за его затылком, а сам покрыл нас своею свиткою, прижал к себе наши колена и понёс нас, скоро и широко шагая по грязи, которая быстро растворялась и чавкала под его твердо ступавшими ногами, обутыми в большие лапти.

Мы сидели на его плечах, покрытые его свитою. Это, должно быть, выходила пребольшая фигура, но нам было удобно: свита замочла от ливня и залубенела так, что нам под нею и сухо и тепло было. Мы покачивались на плечах нашего носильщика, как на верблюде, и скоро впали в какое-то каталептическое состояние, а пришли в себя у родника, на своей усадьбе. Для меня лично это был настоящий глубокий сон, из которого пробуждение наступало не разом. Я помню, что нас разворачивал из свиты этот самый мужик, которого теперь окружали все наши Аннушки, и все они вырывали нас у него из рук и при этом самого его за что-то немилосердно бранили, и свитку его, в которой мы были им так хорошо сбережены, бросили ему с величайшим презрением на землю. Кроме того, ему ещё угрожали приездом моего отца и тем, что они сейчас сбегают на деревню, позовут с цепями баб и мужиков и пустят на него собак.

Я решительно не понимал причины такой жестокой несправедливости, и это было не удивительно, потому что дома у нас, во всём господствовавшем теперь

временном правлении, был образован заговор, чтобы нам ничего не открывать о том, кто был этот человек, которому мы были обязаны своим спасением.

-- Ничем вы ему не обязаны, -- говорили нам наши охранительницы, -- а напротив, это он-то всё и наделал.

По этим словам я тотчас же догадался, что нас спас не кто иной, как сам Селиван!

Глава одиннадцатая

Оно так и было. На другой день, ввиду возвращения родителей, нам это открыли и взяли с нас клятву, чтобы мы ни за что не говорили отцу и матери о происшедшей с нами истории.

В те времена, когда водились крепостные люди, иногда случалось, что помещичьи дети питали к крепостной прислуге самые нежные чувства и крепко хранили их тайны. Так было и у нас. Мы даже покрывали, как умели, грехи и проступки "своих людей" перед родителями. Такие отношения упоминаются во многих произведениях, где описывается помещичий быт того времени. Что до меня, то мне наша детская дружба с нашими бывшими крепостными до сих пор составляет самое приятное и самое тёплое воспоминание. Через них мы знали все нужды и все заботы бедной жизни их родных и друзей на деревне и учились жалеть народ. Но этот добрый народ, к сожалению, сам не всегда был справедлив и иногда был способен для очень неважных причин бросить на ближнего тёмную тень, не заботясь о том, какое это может иметь вредное влияние. Так поступал "народ" и с Селиваном, об истинном характере и правилах которого не хотели знать ничего основательного, но смело, не боясь погрешить перед справедливостию, распространяли о нём слухи, сделавшие его для всех пугалом. И, к удивлению, всё, что о нём говорили, не только казалось вероятным, но даже имело какие-то видимые признаки, по которым приходилось думать, что Селиван в самом деле человек дурной и что вблизи его уединенного жилища происходят страшные злодейства.

То же самое произошло и теперь, когда нас бранили те, на которых состояла обязанность охранять нас: они не только взвалили всю вину на Селивана, который спас нас от непогоды, но даже взвели на него новую напасть. Аполлинарий и все Аннушки рассказали нам, что когда Аполлинарий заметил в лесу хорошенький холм, с которого ему казалось удобно декламировать, -- он побежал к этому холму через лощинку, засыпанную прошлогодним увядшим древесным листом, но здесь споткнулся на что-то мягкое. Это "мягкое" повернулось под ногами Аполлинария и заставило его упасть, а когда он стал вставать, то увидел, что это труп молодой крестьянской женщины. Он рассмотрел, что труп был в чистом белом сарафане с красным шитьём и... с перерезанным горлом, из которого лилась кровь...

От такой ужасной неожиданности, конечно, можно было и перепугаться и закричать, -- как он и сделал; но вот что было непонятно и удивительно: Аполлинарий, как я рассказываю, был от всех других в отдалении и один споткнулся о труп убитой, но все Аннушки и Роськи клялись и божились, что они тоже видели убитую...

-- Иначе, -- говорили они, -- мы разве бы так испугались?

И я о сю пору уверен, что они не лгали, что они были глубоко уверены в том, что видели в Селивановом лесу убитую бабу в чистом крестьянском уборе с красным шитьём и с перерезанным горлом, из которого струилась кровь... Как это могло случиться?

Так как я пишу не вымысел, а то, что действительно было, то должен здесь остановиться и примолвить, что случай этот так и остался навсегда необъяснимым в доме нашем. Убитую и лежавшую, по словам Аполлинария, под листом в ямке женщину не мог видеть никто, кроме Аполлинария, ибо никого, кроме Аполлинария, здесь не было. Между тем все клялись, что все видели, точно эта мёртвая бабу в одно мгновение ока проявилась на всех местах под глазами у каждого. Кроме того, видел ли в действительности такую женщину и Аполлинарий? Едва ли это было возможно, потому что дело это происходило в самую росталь, когда ещё и снег не везде стоял. Древесный лист лежал под снегом с осени, а между тем Аполлинарий видел труп в чистом белом уборе с шитьём, и кровь из раны ещё струилась... Ничего такого в этом виде положительного не могло быть, но между тем все крестились и клялись, что видели бабу как раз так, как сказано. И все после боялись ночью спать, и всем страшно было, точно все мы сделали преступление. Вскоре и я получил убеждение, что мы с братом тоже видели зарезанную бабу. Тут у нас началась всеобщая боязнь, окончившаяся тем, что всё дело открылось родителям, а отец написал письмо исправнику -- и тот приезжал к нам с предлинной саблей и всех расспрашивал по секрету в отцовском кабинете. Аполлинария исправник призывал даже два раза и во второй раз делал ему такое сильное внушение, что у того,

Это мы тоже все видели.

Но как бы то ни было, мы нашими рассказами причинили Селивану много горя: его обыскивали, осматривали весь его лес и самого его содержали долгое время под караулом, но ничего подозрительного у него не нашли, и следов виденной нами убитой женщины тоже никаких не оказалось. Селиван опять вернулся домой, но это ему не помогло в общественном мнении: все с этих пор знали, что он несомненный, хотя и неуловимый злодей, и не хотели иметь с ним ровно никакого дела. А меня, чтобы я не подвергался усиленному воздействию поэтического элемента, отвезли в "благородный пансион", где я и начал усваивать себе общеобразовательные науки, в полной безмятежности, вплоть до приближения рождественских праздников, когда мне настало время ехать домой

опять непременно мимо Селиванова двора и видеть в нём собственными глазами большие страхи.

Глава двенадцатая

Дурная репутация Селивана давала мне большой апломб между моими пансионскими товарищами, с которыми я делился моими сведениями об этом страшном человеке. Из всех моих пансионерских сверстников ни один ещё не переживал таких страшных ощущений, какими я мог похвастаться, и теперь, когда мне опять предстояло проехать мимо Селивана, -- к этому никто не отнёсся безучастно и равнодушно. Напротив, большинство товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не хотели бы быть на моём месте, а два или три смельчака мне завидовали и хвалились, что они бы очень хотели встретиться лицом к лицу с Селиваном. Но двое из этих были записные хвастунишки, а третий мог никого не бояться, потому что, по его словам, у его бабушки в старинном венецийском кольце был "таусинный камень", с которым к человеку "никакая беда неприступна" [Таусинный камень, или туасень -- светлый сафир с оттенком павлиньего пера, в старину считался спасительным талисманом. У Грозного был такой талисман тоже в кольце или, по-старинному, в "напалке". "Напалка золотная жуковиною (перстнем), а в ней камень таусень, а в том муть и как бы пузырярина зрится". -- Прим. автора.].

У нас же в семье такой драгоценности не было, да и притом я должен был совершить моё рождественское путешествие не на своих лошадях, а с тётушкой, которая как раз перед святками продала дом в Орле и, получив за него тридцать тысяч рублей, ехала к нам, чтобы там, в наших краях, купить давно приторгованное для неё моим отцом имение.

К досаде моей, сборы тётушки целые два дня задерживались какими-то важными деловыми обстоятельствами, и мы выехали из Орла как раз утром в рождественский сочельник.

Ехали мы в просторной рогожной троичной кибитке, с кучером Спиридоном и молодым лакеем Борискою. В экипаже помещались тётушка, я, мой двоюродный брат, маленькие кузины и няня -- Любовь Тимофеевна.

На порядочных лошадях при хорошей дороге до нашей деревеньки от Орла можно было доехать в пять или шесть часов. Мы приехали в Кромы в два часа и остановились у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у нас была в обычае, да её требовал и туалет моей маленькой кузины, которую ещё пеленали.

Погода была хорошая, близкая почти к оттепели; но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить, и потом "закурило", то есть помело по земле мелким снежком.

Тётушка была в раздумье: переждать ли это или, напротив, поспешить, ехать скорее, чтобы успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыгаться непогода.

Проехать оставалось с небольшим двадцать верст. Кучер и лакей, которым хотелось встретить праздник с родными и приятелями, уверяли, что мы успеем доехать благополучно -- лишь бы только не медлить и выезжать скорее.

Мои желания и желания тётушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон и Бориска. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме, в Кромах. Притом же тётушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкатулочке, закрытой чехлом из толстого зеленого фриза.

Ночевать с таким денежным богатством в чужом доме тётушке казалось очень небезопасным, и она решилась послушаться совета наших верных слуг.

С небольшим в три часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром по направлению к раскольницкой деревне Колчеве; но едва лишь переехали по льду через реку Кромку, как почувствовали, что нам как бы вдруг не достало воздуха, чтобы дышать полною грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами -- это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж нёсся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер был нам взад и как бы гнал нас с усиленною скоростью к какой-то предначертанной меже. Скоро, однако, бойкий след по пути стал "заикаться"; по дороге пошли уже мягкие снеговые переносы, -- они начали встречаться всё чаще и чаще, наконец вскоре прежнего бойкого следа сделалось вовсе не видно.

Тётушка тревожно выглянула из возка, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что её обдало мелкою холодною пылью, и, прежде чем мы успели дозваться к себе людей с козел, снег понёсся густыми хлопьями, небо в мгновение стемнело, и мы очутились во власти настоящей снеговой бури.

Глава тринадцатая

Ехать назад к Кромам было так же опасно, как и ехать вперёд. Даже позади чуть ли не было более опасности, потому что за нами осталась река, на которой было под городом несколько прорубей, и мы при метели легко могли их не разглядеть и попасть под лёд, а впереди до самой нашей деревеньки шла ровная степь и только на одной седьмой версте -- Селиванов лес, который в метель не увеличивал опасности, потому что в лесу должно быть даже тише. Притом в глубь леса проезжей дороги не было, а она шла по опушке. Лес нам мог быть только полезным указанием, что мы проехали половину дороги до дому, и потому кучер Спиридон погнался лошадей пошибче.

Дорога всё становилась тяжелее и снежистее: прежнего весёлого стука под полозьями не было и помина, а напротив, возок полз по рыхлому наносу и скоро начал бочить то в одну, то в другую сторону.

Мы потеряли спокойное настроение духа и начали чаще осведомляться о нашем положении у лакея и у кучера, которые давали нам ответы неопределённые и нетвёрдые. Они старались внушить нам уверенность в нашей безопасности, но, очевидно, и сами такой уверенности в себе не чувствовали.

Через полчаса скорой езды, при которой кнут Спиридона всё чаще и чаще щёлкал по лошадам, мы были обрадованы восклицанием:

-- Вот Селиванкин лес завиднелся.

-- Далеко он? -- спросила тётушка.

-- Нет, вот совсем до него доехали.

Это так и следовало -- мы ехали от Кром уже около часа, но прошло ещё добрых полчаса -- мы всё едем, и кнут хлещет по коням всё чаще и чаще, а леса нет.

-- Что же это такое? Где Селиванов лес?

С козел ничего не отвечают.

-- Где же лес? -- переспрашивает тётушка, -- проехали мы его, что ли?

-- Нет, ещё не проезжали, -- глухо, как бы из-под подушки, отвечает Спиридон.

-- Да что же это значит?

Молчание.

-- Подите вы сюда! Остановитесь! Остановитесь!

Тётушка выглянула из-за фартука и изо всех сил отчаянно крикнула. "Остановитесь!", а сама упала назад в возок, куда вместе с нею ввалилось целое облако снежных шапок, которые, подчиняясь влиянию ветра, ещё не сразу сели, а тряслись, точно реющие мухи.

Кучер остановил лошадей, и прекрасно сделал, потому что они тяжело носили животами и шатались от усталости. Если бы им не дать в эту минуту передышки, бедные животные, вероятно, упали бы.

-- Где ты? -- спросила тётушка сошедшего Бориса.

Он был на себя не похож. Перед нами стоял не человек, а снежный столб. Воротник волчьей шубы у Бориса был поднят вверх и обвязан каким-то обрывком. Всё это пропущено снегом и слепило в одну кучу.

Борис был не знаток дороги и робко отвечал, что мы, кажется, сбились.

-- Позови сюда Спиридона.

Звать голосом было невозможно: метель всем затыкала рты и только сама одна редела и выла на просторе с ужасающим ожесточением.

Бориска полез на козла, чтобы потянуть Спиридона рукою, но... ему на это потребовалось потратить очень много времени, прежде чем он стал снова у возка и объяснил:

-- Спиридона нет на козлах!
-- Как нет! где же он?
-- Я не знаю. Верно, сошёл поискать следа. Позвольте, и я пойду.
-- О господи! Нет, не надо, -- не ходи; а то вы оба пропадёте, и мы все замёрзнем.

Услыхав это слово, я и мой кузен заплакали, но в это же самое мгновение у возка рядом с Борисушкой появился другой снеговой столб, ещё более крупный и страшный.

Это был Спиридон, надевший на себя запасной мочальный кулёк, который стоял вокруг его головы, весь набитый снегом и обмёрзлый.

-- Где же ты видел лес, Спиридон?

-- Видел, сударыня.

-- Где же он теперь?

-- И теперь видно.

Тётушка хотела посмотреть, но ничего не увидела, всё было темно. Спиридон уверял, что это оттого, что она "необсмотремши"; но что он очень давно видит, как лес чернеет, но... только в том беда, что к нему подъезжаем, а он от нас отъезжает.

-- Всё это, воля ваша, Селивашка делает. Он нас куда-то заводит.

Услыхав, что мы попали в такую страшную пору в руки злодея Селивашки, мы с кузеном заплакали ещё громче, но тётушка, которая была по рождению деревенская барышня и потом полковая дама, она не так легко терялась, как городские дамы, которым всякие невзгоды меньше знакомы. У тётушки были опыт и сноровка, и они нас спасли из положения, которое в самом деле было очень опасно.

Глава четырнадцатая

Не знаю: верила или не верила тётушка в злое волшебство Селивана, но она прекрасно сообразила, что теперь всего важнее для нашего спасения, чтобы не выбились из сил наши лошади. Если лошади изнурятся и станут, а мороз закрепчает, то все мы непременно погибнем. Нас удушит буря и мороз заморозит. Но если лошади сохраняют силу для того, чтобы брести как-нибудь, шаг за шагом, то можно питать надежду, что кони, идучи по ветру, сами выйдут как-нибудь на дорогу и привезут нас к какому-нибудь жилью. Пусть это будет хоть нетопленая избушка на курьих ножках в овражке, но всё же в ней хоть не бьёт так сердито вьюга и нет этого дёрганья, которое ощущается при каждой усилии лошадей переставить их усталые ноги... Там бы можно было уснуть... Уснуть ужасно хотелось и мне и моему кузену. На этот счёт из нас счастлива была только одна маленькая, которая спала за тёплой заячьей шубкой у няни, но нам двум не давали засыпать. Тётушка знала, что это страшно, потому что

сонный скорее замёрзнет. Положение наше с каждой минутой становилось хуже, потому что лошади уже едва шли и сидевшие на козлах кучер и лакей начали от стужи застывать и говорить невнятным языком, а тётушка перестала обращать внимание на меня с братом, и мы, прижавшись друг к другу, разом уснули. Мне даже виделись весёлые сны: лето, наш сад, наши люди, Аполлинарий, и вдруг всё это перескочило к поездке за ландышами и к Селивану, про которого не то что-то слышу, не то только что-то припоминаю. Всё спуталось... так что никак не разберу, что происходит во сне, что наяву. Чувствуется холод, слышится вой ветра и тяжёлое хлопанье рогожки на крышке возка, а прямо перед глазами стоит Селиван, в свитке на одно плечо, а в вытянутой к нам руке держит фонарь... Видение это, сон или картина фантазии?

Но это был не сон, не фантазия, а судьбе действительно угодно было привести нас в эту страшную ночь в страшный двор Селивана, и мы не могли искать себе спасения нигде в ином месте, потому что кругом не было вблизи никакого другого жилья. А между тем с нами была ещё тётушкина шкатулка, в которой находилось тридцать тысяч её денег, составлявших всё её состояние. Как остановиться с таким соблазнительным богатством у такого подозрительного человека, как Селиван?

Конечно, мы погибли! Впрочем, выбор мог быть только в том, что лучше -- замёрзнуть ли на вьюге или пасть под ножом Селивана и его злых сообщников?

Глава пятнадцатая

Как во время короткого мгновения, когда сверкнёт молния, глаз, находившийся в темноте, вдруг различает разом множество предметов, так и при появлении осветившего нас Селиванова фонаря я видел ужас всех лиц нашего бедствующего экипажа. Кучер и лакей чуть не повалились перед ним на колена и остолбенели в наклоне, тётушка подалась назад, как будто хотела продавить спинку кибитки. Няня же припала лицом к ребёнку и вдруг так сократилась, что сама сделалась не больше ребёнка.

Селиван стоял молча, но... в его некрасивом лице я не видал ни малейшей злости. Он теперь казался только сосредоточеннее, чем тогда, когда нёс меня на закорках. Оглядев нас, он тихо спросил:

-- Отогреться что ли?..

Тётушка оправилась скорее других и ответила ему:

-- Да, мы замерзаем... Спаси нас!

-- Пусть Бог спасёт! Въезжайте -- изба топлена.

И он сошёл с порога и стал светить фонарем в кибитке.

Между прислугою, тётушкою и Селиваном перекидывались отдельные коротенькие фразы, обнаружившие со стороны нашей недоверие к хозяину и

страх, а со стороны Селивана какую-то далеко скрытую мужичью иронию и, пожалуй, тоже своего рода недоверие.

Кучер спрашивал, есть ли корм лошадям?

Селиван отвечал:

-- Поищем.

Лакей Борис узнавал, есть ли другие проезжие?

-- Взойдѣшь -- увидишь, -- отвечал Селиван.

Няня проговорила:

-- Да у тебя не страшно ли оставаться?

Селиван отвечал:

-- Страшно, так не заходи.

Тѣтушка остановила их, сказавши каждому как могла тише:

-- Оставьте, не перекоряйтесь, -- всё равно это ничему не поможет. Дальше ехать нельзя. Останемся на волю божью.

И между тем, пока шла эта перемолвка, мы очутились в дощатом отделении, отгороженном от просторной избы. Впереди всех вошла тѣтушка, а за нею Борис внѣс её шкатулку. Потом вошли мы с кузеном и няня.

Шкатулку поставили на стол, а на неё поставили жестяной оплывший салом подсвечник с небольшим огарком, которого могло достать на один час, не больше.

Практическая сообразительность тѣтушки сейчас же обратилась к этому предмету, то есть к свечке.

-- Прежде всего, -- сказала она Селивану, -- принеси-ка мне, батюшка, новую свечку.

-- Вот свечка.

-- Нет, ты дай новую, целую!

-- Новую, целую? -- переспросил Селиван, опираясь одною рукою на стол, а другою о шкатулку.

-- Давай поскорей новую целую свечку.

-- Зачем тебе целую?

-- Это не твоё дело -- я не скоро спать лягу. Может быть, буря пройдёт -- мы поедем.

-- Буря не пройдёт.

-- Ну всё равно -- я тебе за свечку заплачу.

-- Знамо заплатила б, да нет у меня свечки.

-- Поищи, батюшка!

-- Что неположенного искать попусту!

В этот разговор вмешался неожиданно слабый-преслабый тонкий голос из-за перегородки.

-- Нет у нас, матушка, свечечки.

-- Кто это говорит? -- спросила тѣтушка.

-- Моя жена.

Лица тётки и няни немножко просияли. Близкое присутствие женщины, казалось, имело что-то ободрительное.

-- Что она, больна, что ли?

-- Больна.

-- Чем?

-- Хворостью. Ложитесь, мне огарок в фонарь нужен. Надо лошадей ввезть.

И как с Селиваном ни разговаривали, он настоял на своём: что огарок ему необходим, да и только. Он обещал принести его снова -- но пока взял его и вышел.

Исполнил ли Селиван своё обещание принести назад огарок, -- этого я уже не видел, потому что мы с кузеном опять спали, но меня, однако, что-то тревожило. Сквозь сон я слышал иногда шушуканье тётушки с няней и улавливал в этом шепоте чаще всего слово "шкатулка".

Очевидно, няня и другие наши люди знали, что в этом ларце сокрыты большие драгоценности, и все заметили, что шкатулка с первого же мгновения остановила на себе алчное внимание нашего неблагонадёжного хозяина.

Обладавшая большою житейскою опытностью, тётушка моя видела явную необходимость подчиняться обстоятельствам, но зато тотчас же сделала соответственные опасному положению распоряжения.

Чтобы Селиван не зарезал нас, решено было, чтобы никто не спал. Лошадей велено было выпрячь, но не снимать с них хомутов, и кучеру с лакеем сидеть обоим в повозке: они не должны были разъединяться, потому что поодиночке Селиван их перебьёт, и мы тогда останемся беспомощны. Тогда он убьёт, конечно, и нас и всех нас зароет под полом, где зарыто уже и без того множество жертв его лютости. В избе с нами кучер и лакей не могли быть оставлены, потому что тогда Селиван обрежет гужи в коренном хомуте, чтобы нельзя было запрещь лошадей, или совсем сдаст всю тройку своим товарищам, которые у него пока где-то припрятаны. В таком случае нам не на чем будет и спасаться, между тем как очень может статься, что метель скоро уляжется, и тогда кучер станет запрягать, а Борис стукнет три раза в стенку, и мы все бросимся на двор, сядем и уедем. Для того чтобы быть постоянно наготове, и из нас никто не раздевался.

Не знаю, долго ли или коротко шло время для прочих, но для нас, двух спящих мальчиков, оно пролетело как одно мгновенье, которое вдруг завершилось ужаснейшим пробуждением.

Глава шестнадцатая

Я проснулся оттого, что мне стало невыносимо тяжело дышать. Открыв глаза, я не увидел ничего ровно, потому что вокруг меня было темно, но только в

отдалении что-то как будто серело: это обозначалось окно. Но зато, как при свете Селиванова фонаря я разом увидел лица всех бывших на той ужасной сцене людей, так теперь я в одно мгновение вспомнил всё -- кто я, где я, зачем я здесь, кто есть у меня милые и дорогие в отцовском доме, -- и мне стало всего и всех жалко, и больно, и страшно, и мне хотелось закричать, но это-то и было невозможно. Мои уста были зажаты плотно человеческою рукою, а на ухо трепетный голос шептал мне:

-- Ни звука, молчи, ни звука! Мы погибли -- к нам ломятся.

Я узнал тёткин голос и пожал её руку в знак того, что я понимаю её требование.

За дверями, которые выходили в сени, слышался шорох... кто-то тихо переступал с ноги на ногу и водил по стене руками... Очевидно, этот злодей искал, но никак не мог найти двери...

Тётушка прижала нас к себе и прошептала, что бог нам ещё может помочь, потому что в дверях ею устроено укрепление. Но в это же самое мгновение, может быть именно потому, что мы выдали себя своим шёпотом и дрожью, за тёсовой перегородкой, где была изба и откуда при разговоре о свечке отзывалась жена Селивана, кто-то выбежал и сцепился с тем, кто тихо подкрадывался к нашей двери, и они вдвоём начали ломиться; дверь затрещала, и к нашим ногам полетели стол, скамья и чемоданы, которыми заставилась тётушка, а в самой распахнувшейся двери появилось лицо Борисушки, за шею которого держались могучие руки Селивана...

Увидав это, тётушка закричала на Селивана и бросилась к Борису.

-- Матушка! Бог спас, -- хрипел Борис.

Селиван принял свои руки и стоял.

-- Скорее, скорей вон отсюда, -- заговорила тётушка. -- Где наши лошади?

-- Лошади у крыльца, матушка, я только хотел вас вызвать... А этот разбойник... бог спас, матушка! -- лепетал скороговоркою Борис, хватая за руки меня и моего кузена и забирая по дороге всё, что попало. Все врозь бросились в двери, вскочили в повозку и понеслись вскачь, сколько было конской мочи. Селиван, казалось, был жестоко переконфужен и смотрел нам вслед. Он, очевидно, знал, что это не может пройти без последствий.

На дворе теперь светало, и перед нами на востоке горела красная, морозная рождественская заря.

Глава семнадцатая

Мы доехали до дому не более как в полчаса, во всё время безумолчно толкуя о пережитых нами страхах. Тётушка, няня, кучер и Борис все перебивали друг друга и беспрестанно крестились, благодаря бога за наше удивительное спасение. Тётушка говорила, что она не спала всю ночь, потому что ей

беспрестанно слышалось, как кто-то несколько раз подходил, пробовал отворить двери. Это и понудило её загромоздить вход всем, что попало под её руки. Она тоже слышала какой-то подозрительный шёпот за перегородкою у Селивана, и ей казалось, что он не раз тихонько отворял свою дверь, выходил в сени и тихонько пробовал за скобку нашей двери. Всё это слышала и няня, хотя она, по её словам, минутами засыпала. Кучер и Борис видели более всех. Боясь за лошадей, кучер не отходил от них ни на минуту, но Борисушка не раз подходил к нашим дверям и всякий раз, как подходил он, -- сию же минуту появлялся из своих дверей и Селиван. Когда буря перед рассветом утихла, кучер и Борис тихонько запрягли лошадей и тихонько же выехали, сами отперев ворота; но когда Борис также тихо подошёл опять к нашей двери, чтобы нас вывести, тут Селиван увидал, что добыча уходит у него из рук, бросился на Бориса и начал его душить. Слава богу, конечно, что это ему не удалось, и он теперь уже не отделается одними подозрениями, как отделялся до сих пор: его злые намерения были слишком ясны и слишком очевидны, и всё это происходило не с глазу на глаз с каким-нибудь одним человеком, а при шести свидетелях, из которых тётушка одна стояла по своему значению нескольких, потому что она слыла во всём городе умницею и к ней, несмотря на её среднее состояние, заезжал с визитами губернатор, а наш тогдашний исправник был ей обязан устройством своего семейного благополучия. По одному её слову он, разумеется, сейчас же возьмётся расследовать дело по горячим следам, и Селивану не миновать петли, которую он думал накинуть на наши шеи.

Сами обстоятельства, казалось, слагались так, что всё собиралось к немедленному отмщению за нас Селивану и к наказанию его за зверское покушение на нашу жизнь и имущество.

Подъезжая к своему дому, за родником на горе, мы встретили верхового парня, который, завидев нас, чрезвычайно обрадовался, заболтал ногами по бокам лошади, на которой ехал, и, сняв издали шапку, подскочил к нам с сияющим лицом и начал рапортовать тётушке, какое мы причинили дома всем беспокойство.

Оказалось, что отец, мать и все домашние тоже не спали. Нас непременно ждали, и с тех пор, как вечером начала разыгрываться метель, все были в большой тревоге -- не сбились ли мы с дороги или не случилось ли с нами какое-нибудь другое несчастье: могла сломаться в ухабе оглобля, -- могли напасть волки... Отец высылал навстречу нам несколько человек верховых людей с фонарями, но буря рвала из рук и гасила фонари, да и ни люди, ни лошади никак не могли отбиться от дома. Топочется человек очень долго -- всё ему кажется, будто он едет против бури, и вдруг остановка, и лошадь ни с места далее. Седок её понуждает, хотя и сам едва дышит от задухи, но конь не идёт... Вершник слезет, чтобы взять за повод и провести оробевшее животное, и вдруг, к удивлению своему, открывает, что лошадь его стоит, упершись лбом в стену

конюшни или сарая... Только один из разведчиков уехал немножко далее и имел настоящую дорожную встречу: это был шорник Прохор. Ему дали выносную фореиторскую лошадь, которая закусывала между зубами удила, так что железо до губ её не дотрагивалось, и ей через то становились нечувствительны никакие удержки. Она и понесла Прохора в самый ад метели и скакала долго, брыкая задом и загибая голову к передним коленам, пока, наконец, при одном таком вольте шорник перелетел через её голову и всею своею фигурою ввалился в какую-то странную кучу живых людей, не оказавших, впрочем, ему с первого раза никакого дружелюбия. Напротив, из них кто-то тут же снабдил его тумаком в голову, другой сделал поправку в спину, а третий стал мять ногами и

Прохор был малый не промах, -- он понял, что имеет дело с особенными существами, и неистово закричал.

Испытываемый им ужас, вероятно, придал его голосу особенную силу, и он был немедленно услышан. Для спасения его тут же, в трех от него шагах, показалось "огненное светение". Это был огонь, который выставили на окне в нашей кухне, под стеною которой приютились исправник, его письмоводитель, рассыльный солдат и ямщик с тройкою лошадей, увязших в сугробе.

Они тоже сбились с дороги и, попав к нашей кухне, думали, что находятся где-то на лугу у сенного омета.

Их откопали и просили кого на кухню, кого в дом, где исправник теперь и кушал чай, собираясь поспеть к своим в город ранее, чем они проснутся и встревожатся его отсутствием после такой ненастной ночи.

-- Да! он барин хватский, -- он Селивашке задаст! -- подхватили люди, и мы понеслись вскачь и подкатили к дому, когда исправникова тройка стояла ещё у нашего крыльца.

Сейчас исправнику всё расскажут, и через полчаса разбойник Селиван будет уже в его руках.

Глава восемнадцатая

Мой отец и исправник были поражены тем, что мы перенесли в дороге и особенно в разбойничьем доме Селивана, который хотел нас убить и воспользоваться нашими вещами и деньгами...

-- Ах, боже мой! да где же моя шкатулка?

В самом деле, где же эта шкатулка и лежащие в ней тысячи?

Представьте себе, что её не было! Да, да, её-то одной только и не было ни в комнатах между внесёнными вещами, ни в повозке -- словом, нигде... Шкатулка, очевидно, осталась там и теперь -- в руках Селивана... Или... может быть, даже он её ещё ночью выкрал. Ему ведь это было возможно; он, как хозяин, мог знать все щелки своего дрянного дома, и этих щелок у него, наверно, не мало... Могла у него быть и подъёмная половица и приставная дощечка в перегородке.

И едва только опытным в выслеживании разбойничьих дел исправником было высказано последнее предположение о приставной дощечке, которую Селиван мог ночью тихонько отставить и через неё утащить шкатулку, как тётушка закрыла руками лицо и упала в кресло.

Боясь за свою шкатулку, она именно спрятала её в уголок под лавкою, которая приходилась к перегородке, отделяющей наше ночное помещение от той части избы, где оставался сам Селиван с его женою...

-- Ну, вот оно и есть! -- воскликнул, радуясь верности своих опытных соображений, исправник. -- Вы сами ему подставили вашу шкатулку!.. но я всё-таки удивляюсь, что ни вы, ни люди, никто её не хватился, когда вам пришло время ехать.

-- Да боже мой! мы были все в таком страхе! -- стонала тётушка.

-- И это правда, правда; я вам верю, -- говорил исправник, -- вам было чего напугаться, но всё-таки... такая большая сумма... такие хорошие деньги. Я сейчас скачу, скачу туда... Он, верно, уже скрылся куда-нибудь, но он от меня не уйдет! Наше счастье, что все знают, что он вор, и все его не любят: его никто не станет скрывать... А впрочем -- теперь у него в руках есть деньги... он может делиться... Надо спешить... Народ ведь шельма... Прощайте, я еду. А вы успокойтесь, примите капли... Я их воровскую натуру знаю и уверяю вас, что он будет пойман.

И исправник опоясался своею саблею, как вдруг в передней послышалось между бывшими там людьми необыкновенное движение, и... через порог в залу, где все мы находились, тяжело дыша, вошёл Селиван с тётушкиной шкатулкой в руках.

Все вскочили с мест и остановились как вкопанные...

-- Укладочку забыли, возьмите, -- глухо произнёс Селиван.

Более он ничего не мог говорить, потому что совсем задыхался от непомерной скорой ходьбы и, может быть, от сильного внутреннего волнения.

Он поставил шкатулку на стол, а сам, никем не прощенный, сел на стул и опустил голову и руки.

Глава девятнадцатая

Шкатулка была в полной целости. Тётушка сняла с шеи ключик, отперла её и воскликнула:

-- Всё, всё как было!

-- Сохранно... -- тихо молвил Селиван. -- Я всё бег за вами... хотел догнать... не служал... Простите, что сию перед вами... задохнулся.

Отец первый подошёл к нему, обнял его и поцеловал в голову.

Селиван не трогался.

Тётушка вынула из шкатулки две сотенные бумажки и стала давать их ему в руки.

Селиван продолжал сидеть и смотреть, словно ничего не понимал.

-- Возьми что тебе дают, -- сказал исправник.

-- За что? -- не надо!

-- За то, что ты честно сберёг и принёс забытые у тебя деньги.

-- А то как же? Разве надо не честно?

-- Ну, ты... хороший человек... ты не подумал утаить чужое.

-- Утаить чужое!.. -- Селиван покачал головою и добавил: -- Мне не надо чужого.

-- Но ведь ты беден -- возьми это себе на поправку! -- ласкала его тётушка.

-- Возьми, возьми, -- убеждал его мой отец. -- Ты имеешь на это право.

-- Какое право?

Ему сказали про закон, по которому всякий, кто найдет и возвратит потерянное, имеет право на третью часть находки.

-- Что такой за закон, -- отвечал он, снова отстраняя от себя тётушкину руку с бумажками. -- Чужою бедою не разживёшься... Не надо!-- прощайте!

И он встал с места, чтобы идти назад к своему опороченному дворишку, но отец его не пустил: он взял его к себе в кабинет и заперся там с ним на ключ, а потом через час велел запечь сани и отвезти его домой.

Через день об этом происшествии знали в городе и в округе, а через два дня отец с тётушкой поехали в Кромы и, остановясь у Селивана, пили в его избе чай и оставили его жене тёплую шубу. На обратном пути они опять заехали к нему и ещё привезли ему подарков: чаю, сахару и муки.

Он брал всё вежливо, но неохотно и говорил:

-- На что? Ко мне теперь, вот уже три дня, все стали люди заезжать... пошёл доход... щи варили... Нас не боятся, как прежде боялись.

Когда меня повезли после праздников в пансион, со мною опять была к Селивану посылка, и я пил у него чай и всё смотрел ему в лицо и думал:

"Какое у него прекрасное, доброе лицо! Отчего же он мне и другим так долго казался пугалом?"

Эта мысль преследовала меня и не оставляла в покое. Ведь это тот же самый человек, который всем представлялся таким страшным, которого все считали колдуном и злодеем. И так долго всё выходило похоже на то, что он только тем и занят, что замышляет и устраивает злодеяния. Отчего же он вдруг стал так хорош и приятен?

Глава двадцатая

Я был очень счастлив в своём детстве в том отношении, что первые уроки религии мне были даны превосходным христианином. Это был орловский

священник Остромыслений -- хороший друг моего отца и друг всех нас, детей, которых он умел научить любить правду и милосердие. Я не рассказывал товарищам ничего о том, что произошло с нами в рождественскую ночь у Селивана, потому что во всём этом не было никакой похвалы моей храбрости, а, напротив, над моим страхом можно было посмеяться, но я открыл все мои приключения и сомнения отцу Ефиму.

Он меня поласкал рукою и сказал:

-- Ты очень счастлив; твоя душа в день рождества была -- как ясли для святого младенца, который пришёл на землю, чтоб пострадать за несчастных. Христос озарил для тебя тьму, которою окутывало твоё воображение -- пусторечие тёмных людей. Пугало было не Селиван, а вы сами, -- ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла видеть его добрую совесть. Лицо его казалось вам тёмным, потому что око ваше было тёмно. Наблюдай это для того, чтобы в другой раз не быть таким же слепым.

Это был совет умный и прекрасный. В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почётным.

В новом имении, которое купила тётушка, был хороший постоянный двор на проезжем трактовом пункте. Этот двор она и предложила Селивану на хороших для него условиях, и Селиван это принял и жил в этом дворе до самой своей кончины. Тут сбылись мои давние детские сны: я не только близко познакомился с Селиваном, но мы питали один к другому полное доверие и дружбу. Я видел, как изменилось к лучшему его положение -- как у него в доме водворилось спокойствие и мало-помалу заводился достаток; как вместо прежних хмурых выражений на лицах людей, встречавших Селивана, теперь все смотрели на него с удовольствием. И действительно, вышло так, что как только просветились очи окружавших Селивана, так сделалось светлым и его собственное лицо.

Из тётушкиных людей Селивана особенно не любил лакей Борисушка, которого Селиван чуть не задушил в ту памятную нам рождественскую ночь.

Над этой историей иногда подшучивали. Случай этой ночи объяснялся тем, что как у всех было подозрение -- не ограбил бы тётушку Селиван, так точно и Селиван имел сильное подозрение: не завезли ли нас кучер и лакей на его двор нарочно с тем умыслом, чтобы украсть здесь ночью тётушкины деньги и потом свалить всё удобнейшим образом на подозрительного Селивана.

Недоверие и подозрительность с одной стороны вызывали недоверие же и подозрения -- с другой, -- и всем казалось, что все они -- враги между собою и все имеют основание считать друг друга людьми, склонными ко злу.

Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает око и сердце наше чистыми.

Глава двадцать первая

Остаётся досказать, отчего же, однако, с тех пор, как Селиван ушёл от калачника, он стал угрюм и скрытен? Кто тогда его огорчил и оттолкнул?

Отец мой, будучи расположен к этому доброму человеку, всё-таки думал, что у него есть какая-то тайна, которую Селиван упорно скрывает.

Это так и было, но Селиван открыл свою тайну одной только тётушке моей, и то после нескольких лет жизни в её имении и после того, когда у Селивана умерла его всегда болевшая жена.

Когда я раз приехал к тётушке, бывши уже юношею, и мы стали вспоминать о Селиване, который и сам незадолго перед тем умер, то тётушка рассказала мне его тайну.

Дело заключалось в том, что Селиван, по нежной доброте своего сердца, был тронут горестной судьбою беспомощной дочери умершего в их городе отставного палача. Девочку эту никто не хотел приютить, как дитя человека презренного. Селиван был беден, и притом он не мог решиться держать у себя палачову дочку в городке, где её и его все знали. Он должен был скрывать от всех её происхождение, в котором она была неповинна. Иначе она не избежала бы тяжких попреков от людей, неспособных быть милостивыми и справедливыми. Селиван скрывал её потому, что постоянно боялся, что её узнают и оскорбят, и эта скрытность и тревога сообщились всему его существу и отчасти на нём отпечатлелись.

Так, каждый, кто называл Селивана "пугалом", в гораздо большей мере сам был для него "пугалом".

Примечания

Впервые, с подзаголовком "Рассказ для юношества", -- журнал "Задушевное слово", 1885, NoNo 19 -- 39.

Стр. 183. *...родители мои купили небольшое имение в Кромском уезде. Тем же летом мы переехали...* -- Зимой 1839 г. отец писателя купил имение "Панино", в тридцати верстах от Орла. Переезд семьи Лесковых в "Панино" совершился летом 1839 г.

Стр. 184. *Скрынь* -- ближайшая к плотине часть мельничного пруда.

Стр. 185. *Замашки* -- стебли конопли.

Сажалка -- небольшой водоём для замачивания конопли.

Стр. 191. *Через* -- кошель в виде пояса для хранения денег.

Стр. 195. *Подторжье* -- канун ярмарки, базара.

Буцефал -- легендарный конь Александра Македонского. Здесь употреблено в шутовском значении.

Стр. 197. *Кутас* -- шнур на кивере.

Стр. 199. *Вершник* -- всадник.

Дорожные просовы -- ямы с водой, невидимые под снегом.

...дней недельных... -- т. е. воскресных.

Ритор -- ученик духовной семинарии по классу риторики.

Стр. 200. *Легконосная* -- быстроногая.

Стр. 201. *... "на шереметевский счёт" ...* -- т. е. бесплатно, "на даровщинку".
Графы Шереметевы были очень богаты и славились хлебосольством.

Стр. 202. *Пифон, Цербер* -- мифологические животные.

Стр. 203. *Этишкет* -- принадлежность военной формы: длинный шнур с кистями на конце, идущий от эфеса шашки к воротнику.

Стр. 204. *Сердце забило и заныло, как у Вара при входе в Тевтобургские дебри.* -- Вар, Публий Квинтилий (ок. 53 г. до н. э. -- 9 г. н. э.) -- древнеримский полководец, войска которого в 9 г. н. э. были завлечены германским полководцем Арминием в Тевтобургский лес и разбиты наголову, после чего Вар покончил с собой.

Стр. 212. *Фриз* -- толстая ворсистая байка.